

И. ОПАТОШУ

1. Поездка в Палестину
2. День в Регенсбурге
3. Элияу Бахур

(ПЕРЕВОД С ЕВРЕЙСКОГО)

С критико-биографическим
очерком

О. РАПОПОРТА

Издательство

„ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА“

150, Route des Soeurs, Apt. 2

ШАНХАЙ

1943

В «польском лесу» (отец его был торговец лесом), где и получил свое первое образование. Вместо тесного хедера — беспредельный лес, и вместо обычного Талмуда, его оригинальный отец проходил с ним каждое утро еврейскую религиозную философию: «Учителя блуждающих» Рамбама, «Кузари» Иегуды Галеви и т. п. То, что для других было запретным плодом, то, за что другие сверстники его еще платили (как старшее поколение) изгнанием из рая веры, борьбой отцов и детей, то было преподнесено И. Опатошу его собственным отцом.

И. Опатошу приобщился к еврейской культуре в широком значении этого слова (он принадлежит к самым еврейски-образованным и еврейски-мыслящим писателям современного поколения), но это образование усвоенное им в более свободном и гуманитарном духе, не стало между ним и светским образованием и мировоззрением, как стена, как что-то враждебное, что надо или разрушить, или перепрыгнуть и оставить позади. В Опатошу ужались и еврейское образование, и европейское. Сама жизнь синтезировала в его воспитании то, что в национальном масштабе дается нам с таким трудом, что стоит нам столько жертв и усилий.

В четырнадцатилетнем возрасте Опатошу поступает в коммерческую школу в Варшаве. В 1905 г., когда школа закрывается правительством из-за беспорядков, 18-ти летний Опатошу уезжает в Париж, потом в Нанси, где поступает в политехникум.

Пробыв в политехникуме всего несколько месяцев, Опатошу принужден вернуться домой

И. ОПАТОШУ

И. Опатошу родился 1-го Января 1887 г. в Млаве, Польше, в родовой хасидской семье.

Отец его был большим знатоком талмудической литературы и одним из первых «просвещенцев» среди польских евреев. Интересно отметить, что этот «просвещенный» талмудист писал древнееврейские стихотворения, которыми Опатошу пользуется в своей исторической трилогии («В Польских лесах», «Год 1863» и «Один») для оживления своих «просвещенцев» и иллюстрации просвещенческой эпохи.

Этот поэтизирующий «маскил» («сухие» просвещенцы вообще имели слабость к стихам, — доказательство их романтической влюбленности... в просвещение) до того увлекся на старости лет каббалой, что сын его, на которого он имел очень глубокое влияние, посвятил свои «Польские леса» отцу своему — «каббалисту».

Хотя в девятидесятых годах 19-го века хедер еще был доминирующим воспитательным институтом молодого поколения, Опатошу почти не посещал хедера. Его образование шло вообще необычным путем. И. Опатошу родился

в Млаву: русское правительство запретило рубить леса и отец его обеднел.

В 1907 г. молодой Опатошу эмигрирует в Америку, где идет путем многих бедных, но энергичных молодых людей: готовится к профессии гражданского инженера и одновременно зарабатывает на жизнь то работой на фабрике, то продажей газет, то преподаванием древнееврейского языка в «Хибрю-Скул».

В 1914 г. он получает диплом гражданского инженера, но этой профессией Опатошу занимается очень короткое время. Его жизненная деятельность наметилась уже давно совсем в другом направлении — еще будучи в Польше, он писал (хотя и не печатал) и даже паломничал к Перецу. В 1910 году Опатошу дебютировал в № 2 сборника «Литература» рассказом. В знаменитых сборниках «Шрифти», которые Опатошу основал вместе с целой группой «молодых» с Давидом Игнатовым во главе, появились в годах 1912-13 его «Роман конокрада» и «Морис и его сын Филипп», привлекая всеобщее внимание к молодому новому прозаику.

Опатошу очень продуктивен. В Нью-Йоркской ежедневной газете «Тог» («День»), где Опатошу состоит постоянным сотрудником, он в течение 25-ти лет напечатал бесчисленное число мелких рассказов, и, кроме того, издал с полдюжины романов и целый ряд больших рассказов.

Опатошу считается теперь одним из самых видных писателей, который уже много дал еврейской литературе и от которого ждут еще больше,

Особенной популярностью пользуется его роман «Польские леса» (первый том исторической трилогии, где автор выводит представителей всех духовных течений в жизни польского еврейства за последние сто лет: хасидизм, просвещение, национальное движение). Этот роман, перепечатанный в 1922 г. в Польше, выдержал в короткое время тираж в 10 тысяч экземпляров, — не частое явление на еврейском книжном рынке.

Хочется мне также отметить следующий знаменательный факт в жизни Опатошу, имеющий общественное значение: в маленьком еврейском сборнике молодых (без кавычек) пописывающих еврейских юношей, родившихся в Америке, находится и сын И. Опатошу (рядом с сыном знаменитого поэта Лейвика). Это — радостная, символическая демонстрация: сколько великих еврейских писателей остались духовно бездетными и кричали вместе с И.Л. Гордоном: «для кого я тружусь?» Но на долю Опатошу, который так естественно перенял наследство, выпала и радость передать его: сын его пытается писать на том же языке, что и отец.

* * *

И. Опатошу принадлежит к той группе еврейских писателей в Америке, которые известны в нашей литературе под именем «молодых». Но эти «Молодые», выступившие коллективно с обемистыми сборниками «Шрифти» почти на пороге Мировой войны 1914 г., уже все переступили порог пятидесятки. Их моло-

IV

жественен и тверд, как камень, и сыплет искрами, как камень), И. Опатошу все же имеет что-то общее с Ашем. Персонажи Опатошу также принадлежат к двум противоположным категориям, как и персонажи Аша: с одной стороны — простонародье, вплоть до героев еврейского полусвета, а с другой — святые, одухотворенные типы. Если Аш является творцом Мотки вора и реб Йехиеля, то Опатошу является творцом «Романа конокрада», рассказов «Полусвет» и каббалиста реб Итче из «Польских лесов» и «лесного цадика» из «Танцовщицы». Знакомство с этими противоположностями Опатошу (также как и Аш) завязал еще в детстве, в своей непосредственной, домашней среде. Свой роман «Польские леса» Опатошу посвящает своему отцу «каббалисту» (Аш посвящает своего «Реб Шлойме Ногида» отцу, который служил ему прототипом этого повседневного святого), а в романе «Польские леса», герой романа Мордхай (Опатошу) вырастает в польском лесу, среди «лесных евреев», которыми кишела его родня с материнской стороны. В одной чрезвычайно интересной статье своей о Переце, Опатошу говорит о своем дяде, торговце лошадьми (Аш узнает своих мясников в доме своего отца, резника, прежде чем он их находит в Кольском или Мясницком переулке).

Опатошу напоминает иногда Аша и тем, что эти его два мира совсем отделены друг от друга: в его героях полусвета зажигается иногда что-то духовное, священное. Это стремление к духовной чистоте у людей полусвета у Аша гораздо чаще и явственнее, чем у Опатошу, но что Опатошу видит это свойство греха, ясно хотя бы из вышеупомянутой

досье прошла, но не даром. Их коллективное усилие поднять на высшую ступень еврейскую литературу в Америке, сделать ее мощным художественно-национальным фактором, избавить ее от униженного рабства у бульварной прессы и от мелочной функции развлечения, — это коллективное усилие «молодых» имело успех. Они дали сильный толчок еврейской литературе не только в Америке, но и в Польше, Литве и России, — странах, откуда происходили эти «молодые». Еврейская Америка этими сборниками показала, что там рождается еврейская литература, которая связана со своим родником не только тем, что черпает из него, но и тем, что начинает его сама питать. Эти «Шрифти» стали залогом того, что еврейская литература пустила глубокие корни в еврейской жизни, и что она и не думает почивать на добытых лаврах, стремясь ввысь и вглубь всюду, где только пускает корни и начинает пробиваться еврейская жизнь.

Эта группа «молодых» имела не только коллективный успех, — ни один из ее членов не вырос пустым колосом. Почти все внесли свою индивидуальную лепту в еврейскую литературу. Одним из самых талантливых и видных прозаиков этой группы является И. Опатошу.

* * *

Несмотря на огромное различие темпераментов Аша и Опатошу, различие, нашедшее свое выражение в различных стилях (стиль Аша мягок, женственен, а стиль Опатошу му-

статьи о Переце, которая открывается чем-то вроде рассказа-воспоминания.

Опатошу рассказывает там, как он однажды пришел в ночь с субботы на воскресенье к своему дяде, торговцу лошадьми. Там он нашел целую компанию конюхов и торговцев лошадьми. Среди них был и Кивка «Сибирник», читавший вслух какой-то рассказ.

Увидев молодого Опатошу, дядя просил его прочесть им Шолом Алейхема. Когда сын дяди, посланный к Опатошу домой за книжками, вернулся, Опатошу прочел им рассказ Шолома Алейхема о Ханука. Потом Опатошу начал читать «Три подарка» Переца. Находясь вдоволь при чтении Шолом Алейхема, присутствующие впади в серьезное молчание — при чтении Переца.

Когда чтение кончилось, один старый торговец лошадьми положил на ладонь том Переца и тихо, со вздохом, сказал: «Такой тяжелый «Кав Гаюшер»*) я вижу в первый раз (как хорошо этот простой старик определял значение народных рассказов Переца!). Этот простой старик почувствовал моральное этих рассказов.

На следующий день пришел к Опатошу Кивка «Сибирник» (он провел на каторге пять лет) и просил дать ему еще такие «вещи».

И годом позже, когда рекруты начали бить на базаре евреев, Кивка поплатился жизнью, защищая их в порыве «Кидуш-гашема», посеянном в нем, может быть, Перецом.

*) «Кав-Гаюшер» — религиозно-назидательная книга.

Этот рассказ-воспоминание указывает не только на родство Опатошу с Ашом, но и на родство Опатошу с Перецом.

Если родство Опатошу с Ашом больше психологическое и формальное (пристрастие в двум категориям героев — «физических» и «духовных»), то родство его с Перецом больше интеллектуальное, чисто духовное: Опатошу принадлежит к тем писателям нашим, которые переняли и несут дальше наследие Переца: заботу о нашем культурном наследстве, эту проблему проблем нашей жизни. Эта проблема стоит перед ним в «Польских лесах» и в «Танцовщице», этих самых зрелых (пока) интеллектуально (хотя не художественно) произведениях Опатошу.

* * *

Опатошу является сильным талантом. Сила его в пластике. В этом отношении он преемник Вайсенберга, который тоже отличался этой пластической способностью. Аш чувствует своего героя, Опатошу — видит его. Если у Аша даже пластичность лирична, то у Опатошу даже психология выражается в движениях. Что за подвижной стиль у этого писателя! Он даже не разбегается — он начинает с полного разбега. Его темп часто навеивает на нас ветер. Насколько это у Опатошу естественно, понимаешь только тогда, когда слышишь его речь: он начинает с разбега и все время идет полным ходом. И часто, поэтому, при чтении Опатошу у нас создается впечатление, что мы не читаем рассказа, а

VIII

Чудится вам бесконечный фон, бесконечное продолжение — пред изгибом и за ним. Зато при каждом странствовании в «Польских лесах» вы наталкиваетесь на слепые переулки.

* * *

Наши классики видели только еврейский коллектив. Индивидуальное играло у них или второстепенную роль или символическую, в национальном масштабе. Из этого чувства коллективности, из этой заботы о коллективе выросла наша литература. Но когда она выросла — эта литература перестала сознавать себя средством, а начала чувствовать себя самоцелью. Литература наша окрепла и получила свободу художественного движения, как дитя, сначала питающееся только вместе с матерью, потом у матери, а выросши и окрепши питается и растет на собственный счет. И родились у нас писатели, которые начали злоупотреблять этой свободой движения, предоставленной им нашей юной, осознавшей себя — и свою свободу! — литературой. Эти писатели почти перестали жить в границах нашей жизни, а жили лишь в границах нашей литературы. Иначе говоря, они не покинули нашу жизнь, но воспринимали ее не в ее широких национальных аспектах, а в ее узких, детальных аспектах мелочных явлений. Из-за деревьев они перестали видеть лес. И если у других народов это нормальное явление отражается только отрицательно на глубине литературы, то при наших ненормальных обстоятельствах это отражалось и

что перед нами быстро движется фильмовая лента. Неудивительно, поэтому, что Опатошу так хорош (он в своей стихии!) при описании движущегося, при описании толпы в действии. Погоня за негром в сильном рассказе «Линчевание», сцена линчевания этого негра, динамичны до предельной скорости.

Опатошу силен особенно в своих рассказах, — романы его, как целое, страдают большими недостатками: романы требуют спокойного течения, и взяты их с разбега, как рассказ, невозможно. Когда сличаешь его исторический роман «Польские леса» с его историческими рассказами «День в Регенсбурге» и «Элияу Бахур», видишь воочию разницу в достижении. Эти маленькие рассказы, рисующие такие далекие явления, как первого романиста на идиш, — Элияу Бахура, — как день в гетто Регенсбурга, представляют собой настоящие жемчужины. Ни на минуту не сомневаешься в правдивости изображаемого, все так живо движется перед нами в живой атмосфере, что это живое движение втягивает нас в свою магически-действующую жизненность. Кажется нам, что не рассказ мы прочли, а роман — настолько он насыщен жизнью. Зато роман, рисующий близкую нам эпоху, у него очень часто не больше, чем набор плохо обработанного материала, в котором автор увяз и потерял, таким образом, свою силу и обаяние, непринужденность движения. В романах Опатошу горизонт автора — и наш! — суживается, в то время как его удачные рассказы раскрывают перед нами безбрежный горизонт. Маленький «День в Регенсбурге» насыщен полнотой жизни в каждом движении своем. При каждом изгибе повествования-действия

IX

отражается губительно на самой нашей жизни. Не думать о своем здоровье очень здоровое явление, но это может себе позволить только здоровый человек. Больной, если у него здоровый инстинкт, непременно будет думать (и он должен думать!) о своем здоровье.

Опатошу принадлежит к тем из наших «молодых», которые пришли в нашу литературу тогда, когда она им предоставляла свободный простор для литературного движения. Они вросли в живую литературу, чувствующую себя самоцелью, и призывавшую их изжить во всю СЕБЯ, отдалиться своим мечтам и воплотить свои индивидуальные переживания и свой индивидуальный опыт. И Опатошу воспользовался этой свободой, которой не хватало нашим писателям «маскилим» и даже основоположникам нашей национальной литературы: он написал «Роман конокрада» и «Из Нью Йоркского Гетто» и множество рассказов, в которых литературная функция упивается свободой. Когда Менделе пишет о Фишке хромым и его романе, он пользуется им как средством описать жизнь всего народа. Опатошу же весь уходит в индивидуальные переживания своего героя. Но принадлежа к самым еврейско-образованным писателям нашим, к самым одухотворенным из них, он почувствовал вскоре, что у еврейского писателя долг не только перед свободой движения своего таланта, но и перед требованиями своего народа. И Опатошу углубляется в духовные движения еврейской жизни, углубляется в ее проблемы и борется с ними (пока далеко не с полным успехом), — в «Польских Лесах» и в «Танцовщице», старается вникнуть в них, найти их духовный

знаменатель и дать на них ответ. Опатошу рвется к широкому национальному горизонту, к хорошей здоровой традиции нашей литературы, всякой действительно народной литературы.

Он отошел от типично-коллективного к индивидуальному, но в этом индивидуальном он стремится схватить обще-национальное. Он хочет прощупать в индивидуальных героях своих те корни, из которых должна, со временем, произрасти новая еврейская коллективность. Он хочет прощупать эти духовные корни и проследить и изобразить муки рождения этих новых форм нашей духовно-коллективной или, лучше, духовно-национальной жизни.

Как на характерную иллюстрацию этого, можно указать на его цаддика из Коцка (Реб Мендель Коцкий), являющегося одним из персонажей его густо населенных «Польских лесов». (Опатошу первый ввел в нашу литературу эту сильную драматическую личность сомневающегося в своем призвании цаддика; с его легкой руки ввел этого цаддика в свой «Тилим-ид» и Аш, и после Опатошу и Аша напали на этого многострадального цаддика разные литературные приживальщики).

В нашей литературе много цаддигов. Сперва ими занимались просвещенческие писатели, потом писатели перецовского склада. Но и те, и другие изображали цаддигов, как символ зла или символ добра, как представителей коллектива. Опатошу первый ввел в нашу литературу цаддика, как индивидуальную личность. Он — не символическая фигура, а драматическая личность, в которой что-то

* * *

«День в Регенсбурге», переведенный мною с небольшими сокращениями, является одним из двух исторических рассказов Опатошу из эпохи зарождения нашей литературы (другой рассказ — «Элияу Бахур», имя которого упоминается и в «Дне в Регенсбурге»), конца 15-го и начала 16-го века в Германии.

Опатошу — первый в нашей литературе создал широко-задуманный исторический роман. И в исторической теме он не ищет ни интересной фабулы, ни экзотического фона, — он ищет в развалинах столетий духовной преемственности, или яснее — духовной неразрывности. Религиозное еврейство раскололось на старую ортодоксию и хасидизм; они оба нашли своего общего врага в просвещении; это последнее переродилось в национальное движение, которое принимает самые противоречивые формы и толки, — от пан-идишизма до пан-гебраизма, от пан-голусизма до пан-палестинизма, от пан-европеизма до неохасидизма. Где же линия неразрывности между всем этим, где же невидимое но все же связывающее народное «я» всего этого?

Найти или создать это связывающее национальное «я» — вот главная цель и главный смысл исторической трилогии Опатошу.

И я совсем не удивлюсь, если «День в Регенсбурге» или «Элияу Бахур» окажутся эскизами к большому роману из эпохи сред-

зреет в муках индивидуальных переживаний, чему, возможно, суждено будет стать плодородным зернышком чего-то национально-ценного, национально-общечеловеческого.

невековья, задание которого — схватить нить связывающего «я» в более глубокой дали столетий.

«День в Регенсбурге», несмотря на его живость, все же оставляет часто впечатление искусственного эскиза, где искусственность ловко замаскирована. Рассказ так построен, что дает возможность описать еврейскую одежду того времени, еврейскую речь того времени, еврейские легенды, в большой мере схожие с немецкими легендами (просительница на свадьбу ссылается на историю Венеры с Тангейзером, бессмертно описанной Генрихом Гейне), еврейские культурные распри того времени.

В этом историческом рассказе стремительный Опатошу иногда очень спокоен. Он поступает тогда, как Иекель, который «выбирал... слова, как бы вычитывая их из писанной книги». Опатошу выбирает осторожно исторически-культурный материал, он движется в чужой, темной области, но не из научной любознательности, — он хочет подготовить почву для связи между разорванными поколениями, он хочет обнажить корни нашей литературы. Он хочет создать перспективу для теперешней жизни нашей, висящей часто в воздухе. Он воскрешает перед нами образ старого, забытого поэта Лейба из Регенсбурга, который тогда уже вел борьбу против чужой литературы на нарождающемся языке и требовал культурной преемственности с первых же шагов идиш в литературу, в культурную жизнь. Лицом к нашей собственной истории, к нашим собственным человеческим мотивам!

«Если мы владеем таким богатством, зачем нам... Гильдебрант, Дитрих? Ведь у нас есть собственный Давид, Иегуда Гамакаби, Бар-Кохба!» Та же старо-новая борьба за наследство и культурную самобытность.

* * *

Кроме этой всеобъемлющей цели, перед этим рассказом еще одна цель.

Мы желаем связать все оборванные нити поколений, и самые старые, и менее старые. Но не только связать, но и обновить эту нить.

Наша литература ищет свое начало, свой источник, свою историю. Опатошу дает нам ее: около книг «пакентрегера» мы слышим схематическую полемику между «ламденом» и женщиной о ценности нашего идиш и его литературы.

Но ведь эта литература и эта культурная борьба происходила не в академии, а в конкретной жизни. Как же выглядела эта жизнь, какой вкус она имела?

Каждое поколение пишет наново прошедшую историю. Аш пересмотрел приговор Менделе о «Городке», Бергельсон — приговор Аша о «Городке». Опатошу пересматривает приговор нашего ходячего представления о жизни нашего народа в средневековьи.

Жизнь эта — хочет он показать в «Дне в Регенсбурге» — основываясь на источниках — не была сплошным «тише-беаб»; жизнь там была ключом, была полна красной крови.

Рассказ этот рисует нам образец тогдашней жизни нашей народной верхушки: итальянский ренессанс врывается в еврейскую жизнь: сыновья учатся и в «иешиботе», и в университете, где один из профессоров — «рош-иешиве» того же иешибота. В сидуре находят себе место (только в сидуре для женщин, конечно!) и светские рассказы и поэмы.

В этом рассказе находит беллетристическое освещение интересная жизнь одного из предков нашей литературы на идиш — Элияу Бахура, который так популяризовал итальянскую версию романа о принце Бове, что название «Бобе-майсе» стало нарицательным именем для всех фантастических рассказов.

Из этого краткого рассказа ясно видно, что жизнь Элияу Бахура, романтическая дружба его с кардиналом в течение 13-ти лет, заслуживает широкого беллетристического освещения на фоне «еврейской жизни той эпохи».

В этом рассказе заметны и прямые следы стремления связать порванные нити поколений, поиски продолжения непрерывного контакта поколений.

Страшен и величествен момент в библиотеке — в библиотеке кардинала-гуманиста (давшего не только тринадцатилетний приют многострадальному «кабцану» Элияу, но и возможность творческой работы), когда мы чувствуем почти физический страх Элияу Бахура при звоне колоколов (мы, евреи, все знаем этот реальный мистический страх) и при мысли, что его дети уходят от еврейства. В тот момент Элияу Бахур вырастает

Он берет день свадьбы и рисует перед нами жизнь такого дня у разных слоев населения Регенсбурга 16 века. Мы жили полнее, человечнее (в чувственном смысле), чем мы думаем, вот что хочет сказать Опатошу. Мы и тогда, показывает Опатошу, жили в унисон с окружающим миром: в одежде, в песнях, в нравах.

Но Опатошу и при этом не теряет широкой национальной перспективы: стоит только прозвучать слову «гейруш» (изгнание) и все веселье меркнет, страшное лицо голуса заглядывает ко всем в душу и гасит беспечность и детское веселье. Каждый чувствует: танец над бездной над пропастью.

* * *

«Элияу Бахур» является и исторической экскурсией в даль столетий, как «День в Регенсбурге», и историей жизни Элияу Бахура, которого когда-то считали первым еврейским романистом на идиш, а теперь, благодаря историкам старо-еврейской литературы мы знаем, как Макс Эрик формулирует это, что «романы Элияу Бахура — не начало, а скорее конец, заключение долгого литературного развития».

В этом маленьком рассказе (который мною переведен с немногими сокращениями) есть много просветов, открывающих широкие горизонты. Эти просветы — намеки, но они интересны.

до символа. Сколько еврейских писателей еще теперь переживают чувства, подобные тем, которые Элияу Бахур переживает в такой образной передаче Опатошу.

Но не только благодаря этому моменту сильнейшего мистического трепета Элияу Бахур становится нам близким, связывающим нашу теперешнюю литературу с прежней, — и своим книготоргашеством Элияу Бахур становится непрерывным звеном нашей литературы, нашей литературной традиции. В начале 16-го века Элияу Бахур, почти единственный близко-знакомый нам романист, идет по домам продавать книги; в шестидесятых и семидесятых годах 19-го века Менделе Мохер Сфорим, творец нашей новой литературы, посылает в город, полный маскилим, шесть экземпляров своей книги, ждет напрасно, чтобы друзья ее продали и в конце концов сам развозит со своими книгами (Менделе Мохер Сфорим не только литературный образ, но и кусочек действительности); и в 20-ом веке еврейские писатели от Польши до Америки (и даже в Шанхае) должны нести свои книги, как навязчивый товар, по домам.

Образ Элияу Бахура жив и актуален по сей день. Через четыре столетия он нашел возродителя в лице талантливого Опатошу, одного из звеньев большой золотой цепи еврейской литературы, которая растет и крепнет и завоевывает почву для своего развития, даже в атмосфере индифферентности, даже в атмосфере вражды.

И—о, чудо!—завоеванная почва для литературы оказывается и завоеванной почвой для строптивого народа, для «народа книги».

די שווערע שול-טירן, געשמידט און געהאמערט מיט אייזערנע מגן-דוד'ס, זענען געשטאנען ברייט צעעפנט. פון דער טיף האט ארויסגעשטאמט א קילקייט, זיך צעלייגט איבערן געפלאסטערטן אריינגאנג, וואו טויכן האבן ארום-געשפאצירט, זיך געוויגט אויף דינע, רויטע פיסלעך, געטערקלט.

אויפן באלעמער איז געשטאנען דער אלטער יעקיל, וואס האט שוין געהאט איבערגעגעבן דאס שמשות דעם זון זיינעם. דאס מאמע פנים גערונצלט און איינגעלאפן פון אלטקייט. ס'ווייסע בערדל, געקופט און געקאלטנט, האט זיך געריסן צו די פאות, צו די ברעמען, גלייך מען וואלט ס'פנים ארומגענומען מיט א קרענצל קנאבל.

ער האט געקוקט אויפן רויטן מעפיד, וואס האט זיך געשפרייט צווישן באלעמער און דעם ארון-קודש, געקוקט אויף די אפגעפוצטע הענגלייכטערס און העסעס, אויף די ווייס-געשארטע, „שטעט“, אויף די אפגעפרישמע ווענט, וואס זענען געווען באמאלט מיט הירשן, מיט שפיל-כלים, מיט קאפיטלעך תהילים. דער אלטער שמש האט געשעפט נחת, וואס די פרוכת'ן און מענטלעך זענען אויסגעווען א ווייטע שטויבעלע ניט. ער האט איינגעצויגן די ליפן, די נאז, ווי ער וואלט זיך געהאלטן ביים פאנאנדערניסן און א זאג געטאן צום זון מיט א יונג קולעכל:

— געלויבט השם-יתברך, ווען געשעט עס ווידער זאג איין ברילעפט? איינמאל אין א לעבן-טאג. הייסן הייסט

עס, אז אונדזער שלמה בעלאסער, דער גרויסער גביר, דער וואקערער, חשוב'ער מאן, האט זיך משדך געווען מיט א צווייטן גביר, מיט אליהו מארגאליס פון ווירמזע. מאגסט הערן וואס איך רעד צו דיר, בערל.

— כ'הער, פאטער — האט דער זון א רוק געמאן זיין גרוי היטל, וואס האט אויסגעווען ווי א גלאק, נאך מיט א טראלד אין דער הייך, און ווייטער געשוירן די שנייצן פון די אפגעברענטע, חלב'נע ליכט.

— ווי זאגט מען, בערל? רייז לחוד און מעשים לחוד — האט דער אלטער שמש א צי געטאן די קני-הויזן, וואס זענען געוועסן אין לאנגע, וואלענע זאקן — דען וויסן מאגסטו, אז אונדזער קהלה, די רעגענסבורגער און די וויר-מיזער קהלה, זענען די קעסטליכסטע קהלות אין גאנץ אשכנז, יחסנים קהלות, וואס זענען ניט שוה בשוה פאר די לעצטע פאר יאר. היינט, בערל, מוז שלום ווערן — רעגענסבורג איז זיך משדך מיט ווירמזע. ס'וועט זיין, זאג איך דיר, — בתופים ובמחולות. מען שמועסט, אז אויף דער חתונה קומען פראגער לצנים, און אונדזער לייב פון רעגענסבורג גרייט זיך שוין צו דער חתונה פון פסח אן. ער האט צוגעגרייט צו „זינגען“ און צו „זאגן“. א חידוש בלויז, וואס קבצנים איז דערווייל ניקס צו זענען. די דאזיקע לייט, וואס זענען פטור פון שולן-גיין, טאן זיך די ערשטע פעדערן, טאן זיך שטענדיק מקדים זיין.

בערל, א שמאלער, א ניט-דערוואקסענער, האט זיך מיטמאל אויסגעגלייכט, איז געווארן אויפגעהיימערט און זיין בלאנד, שימער בערדל האט זיך פארייסן מיט גדלות, ווי דער געשוירענער עק ביי א הענדל, ווען ס'קלייבט זיך א קריי טאן.

— איז עס אמת, פאטער, דאס שמואל בעלאסער האט נאך פאר דער חתונה די יוד אלפים רייכסטאלער גע-סילוקט?

ДЕНЬ В РЕГЕНСБУРГЕ.

I

Массивные двери синагоги с выкованными на них железными «Моген—Давидами» стояли широко-открытые. Из глубины струилась тенистая прохлада, разливаясь по мощенному подъезду, где разгуливали, воркуя, голуби, качаясь на тонких, красных ножках.

На амвоне стоял старый Иекель, который уже передал свою должность шамеса своему сыну. Матовое лицо его было сморщено и как бы высохло от старости. Белая взерошенная борода переходила в пейсы, которые соединялись с бровями, как будто бы лицо было обрамлено венчиком чеснока.

Он смотрел на красный ковер, распротертый между амвоном и «Орон-Койдешом», смотрел на вычищенные подсвечники, на бело-вымытые «города», на обновленные стены, на которых были нарисованы олени, музыкальные инструменты, начертаны псалмы. Старый шамес был в восторге, что «Порохосы» и «Ментелех» выветрены, что в синагоге не осталось ни пылинки. Он сжал губы, нос, как будто вот-вот собирался чихнуть, и сказал сыну молодым голосом:

— Да будет благословлено имя Божье, —

когда может случиться еще такая свадьба? Один раз в жизни. Говорят, что наш Шмуель Белассер, этот большой богач, этот почтенный brave человек, сосватался с другим богачем, с Елияу Марголисом из Вирмизы. Не помешает тебе, Берель, слушать, что я говорю тебе. —

— Я слышу, отец, — сдвинул сын свою серую шапку, имевшую вид колокола, только с кисточкой сверху, и продолжал стричь обожженные фитили сальных свеч.

— Как говорят, Берель—слова—это одно, а дела — другое, — и старый шамес подтянул свои брюки, доходившие до колен и вправленные в длинные шерстяные чулки. — Ты должен знать, что наши общины, регенсбургская и вирмизская, это лучшие общины во всей Германии, благородные общины, которые находятся в ссоре друг с дружкой последние несколько лет. Сегодня, Берель, непременно будет заключен мир — Регенсбург сосватается с Вирмизой. Будет, говорю тебе, — с танцами и барабанами. Говорят, что на свадьбу приезжают пражские актеры, а наш Лейб из Регенсбурга готовится к свадьбе уже с Пасхи. Он приготовил к свадьбе и что пропеть, и что рассказать. Удивительно только одно, что пока не видать еще никаких нищих. Эти господа, которые свободны от молитвы, всегда прибывают первыми.

Берель, щуплый, низкорослый, вдруг выпрямился, повеселел, и его белокурая, редкая борода рванулась вверх с гордостью, как остриженный хвост у петушка, который собирается кукарекнуть.

— Правда ли, отец, что Шмуель Белассер